

## ТАТЬЯНА ТОЛСТАЯ. РАССКАЗЫ ИЗ КНИГИ "НОЧЬ"

### ЛЮБИШЬ -- НЕ ЛЮБИШЬ

-- Другие дети гуляют одни, а мы почему-то с Марьиванной!

-- Вот когда тебе стукнет семь лет, тогда и будешь гулять одна. И нельзя говорить про пожилого человека "противная". Вы должны быть благодарны

Марье Иванне, что она проводит с вами время.

-- Да она нарочно не хочет за нами следить! И мы обязательно попадем под машину! И она в скверике знакомится со всеми старухами и жалуется на нас. И говорит: "дух противоречия".

-- Но ведь ты действительно все делаешь ей назло!

-- И буду делать! И нарочно буду говорить этим дурацким старухам "не здрастье" и "будьте нездоровы".

Да как тебе не стыдно! Надо уважать стареньких! И не грубить, им, а прислушиваться, что они тебе скажут: они старше и больше тебя знают.

Я прислушиваюсь! А Марьиванна только и говорит что про своего дядю.

Ну и что же она про него говорит?

Что он повесился от болезни мочевого пузыря! А еще до этого его переехало колесом фортуны! Потому что он запутался в долгах и неправильно переходил улицу!

...Маленькая, тучная, с одышкой, Марьиванна ненавидит нас, а мы ее.

Ненавидим шляпку с вуалькой, дырчатые перчатки, сухие коржики "песочное

кольцо", которыми она кормит голубей, и нарочно топаем на этих голубей ботами, чтобы их распугать. Марьиванна гуляет с нами каждый день по четыре часа, читает нам книжки и пытается разговаривать по-французски -- для этого, в общем-то, ее и пригласили. Потому что наша собственная, дорогая, любимая няня Груша, которая живет с нами, никаких иностранных языков не знает, и на улицу давно уже не выходит, и двигается с трудом. Пушкин ее тоже очень любил

и писал про нее: "Голубка дряхлая моя!" А про Марьиванну он ничего не сочинил. А если бы и сочинил, то так: "Свинюшка толстая моя!"

Но вот что удивительно -- просто невозможно поверить, -- но Марьиванна тоже была любимой няней у одной уже выросшей девочки! Эту девочку, Катю,

Марьиванна вспоминает каждый день. Она не высовывала язык, не ковыряла в

носу, доедала все до конца, обнимала и целовала Марьиванну -- ненормальная!

Вечером, лежа в постелях, мы с сестрой придумываем разговоры Марьиванны

и послушной Кати:

-- Доешь червяков до конца, дорогая Катюша!

-- С удовольствием, ненаглядная Марьиванна!

-- Скушай маринованную лягушку, деточка!

-- Я уже скушала! Положите мне еще пюре издохлых мышей, пожалуйста!..

В скверике, который Марьиванна называет "бульваром", бледные

ленинградские девочки копаются в  
потемневшем осеннем песке, прислушиваясь к взрослым разговорам.  
Марьяванна, быстро познакомившись с какой-нибудь старушенцией в  
шляпке,  
вынимает из ридикюля твердые старинные фотографии: она и дядя  
прислонились к  
роялю, а сзади -- водопад. Неужели в недрах этой задыхающейся туши  
погребено  
вон то белое воздушное существо в кружевных перчатках? "Он заменил мне  
отца  
и мать и хотел, чтобы я называла его просто Жорж. Он дал мне образование, он  
впервые вывез меня в свет. Вот эти жемчуга -- здесь плохо видно -- это его  
подарок. Он безумно, безумно меня любил. Видите, какой он тут  
представительный? А вот тут мы в Пятигорске. Это моя подруга Юлия. А  
здесь  
мы пьем чай в саду". -- "Чудные снимки. А это тоже Юлия?" -- "Нет, это  
Зинаида. Это подруга Жоржа. Она-то его и разорила. Он был игрок". -- "Ах,  
вон что". -- "Да. Выбросить бы этот снимок, да рука не поднимается. Ведь  
что все, что от него осталось. И стихи -- он был поэт". -- "Что вы  
говорите!" -- "Да, да, чудный поэт. Сейчас таких нет. Такой романтичный,  
немного мистик..."

Старушенция, балда, раскинула уши, мечтательно улыбается, смотрит на  
меня. А нечего глазеть-то! Я показываю ей язык. Марьяванна, от стыда прикрыв  
глаза, шепчет с ненавистью: "Жуткое существо!" А вечером опять будет читать  
мне дядины стихи:

-- Няня, кто так громко вскрикнул,  
За окошком промелькнул,  
На крылечке дверью скрипнул.  
Под кроваткою вздохнул?  
Спи, усни, не знай печали,  
Бог хранит тебя, дитя,  
Это вороны кричали,  
Стаей к кладбищу летя.  
Няня, кто свечи коснулся.  
Кто скребется там, в углу,  
Кто от двери протянулся  
Черной тенью на полу?  
--Спи, дитя, не ведай страха,  
Дверь крепка, высок забор, -;  
Не минует вора плаха,  
Прозвенит в ночи топор.  
Няня, кто мне в спину дышит,  
Кто, невидимый, ко мне  
Подбирается все выше  
По измятой простыне?  
О дитя, что хмуришь бровки,  
Вытри глазки и не плачь,  
Крепко стянуты веревки,  
Знает ремесло палач.

Ну-ка, кто после таких стихов найдет в себе силы спустить ноги с

кровати, чтобы, скажем, сесть на горшок! Под кроватью, ближе к стене -- всем известно -- лежит Змей: в шнурованных ботинках, кепке, перчатках, мотоциклетных очках, а в руке -- крюк. Днем Змея нет, а к ночи он сгущается из сумеречного вещества и тихо-тихо ждет: кто посмеет свесить ногу? И сразу -- хватать крюком! Вряд ли съест, но затащит и пропихнет под плинтус, и бесконечно будет падение вниз, под пол, между пыльных переборок. Комнату сторожат и другие породы вечерних существ: ломкий и полупрозрачный Сухой, слабый, но страшный, стоит всю ночь напролет в стенном шкафу, а утром уйдет в щели. За от-

ставшими обоями -- Индрик и Хиздрик: один зеленоватый, другой серый, оба быстро бегающие, многоногие. А еще в углу, на полу -- квадратик медной резной решетки, а под ним черный провал -- "вентиляция". К ней и днем-то подходить опасно: из глубины пристально, не мигая, смотрят Глаза. Да, но самый-то страшный -- тот безымянный, что всегда за спиной, почти касается волос (дядя свидетель!). Много раз он приноравливается схватить, но как-то все упускает момент и медленно, с досадой опускает бесплотные руки. Туго, с головой завернись в одеяло, пусть один нос торчит -- спереди не нападают.

Напугав дядиными стихами. Марьиванна уходит ночевать к себе, в коммунальную квартиру, где, кроме нее, живут еще: Ираида Анатольевна с диабетом, и какая-то пыльная Соня, и Бадыловы, лишенные родительских прав, и повесившийся дядя... И завтра она придет опять, если мы не заболеем. А заболеем мы часто.

Не раз и не два сорокаградусные гриппы закричит, застучат и уши, набьют в красные барабаны, обступят со всех сторон и, бешено крутя, покажут кинофильм бреда, всегда один и тот же: деревянные соты заполняются трехзначными числами; числа больше, грохот громче, барабаны торопливей, -- сейчас все ячейки будут заполнены, вот осталось совсем немного! вот еще чуть-чуть! сердце не выдержит, лопнет, -- но отменили, отпустили, простили, соты убрали, пробежал с нехорошей улыбкой круглый хлеб на тонких ножках по

аэродромному полю -- и затихло... только самолетики букашечными

точками убегают по розовому небу и уносят в коготках черный плащ лихорадки. Обошлось.

Стряхните мне крошки с простыни, остудите подушку, расправьте одеяло, чтобы ни одной складочки, иначе вернутся самолетики с коготками! Без мыслей,

без желаний лежать на спине, в прохладе, в полутьме -- полчаса передышки между двумя атаками барабанщиков. По потолку из угла в угол проходит светлый

веер, и еще веер, и еще -- автомобили уже зажгли фары, вечер сошел с высот, под дверь в соседнюю комнату просунули коврик света -- там пьют чай, загорелся оранжевый абажур, и кто-нибудь из старших уже плетет из его бахромы недозволенные косички -- "портит вещь". Пока самолетики не вернулись, можно, оставив среди чугунных простыней свою постукивающую жаром

телесную оболочку, мысленно выскользнуть за дверь -- длинная рубашка, холодные тапочки -- подсесть невидимкой к столу -- а эту чашку за неделю я

забыла! -- жмурясь, путешествовать взглядом по оранжевым горбам абажура. Абажур молодой, пугливый, он ко мне еще не привык -- только недавно мы с папой купили его на барахолке.

Ах, сколько там было людей, сколько обладателей ватников и плюшевых жакетов, коричневых оренбургских платков! И все они горланили, и суетились, и трясли перед папиным лицом синими диагональными отрезами, и совали в нос

крепкие черные валенки! Какие там были сокровища! А папа-то: все прошляпил,

проворонил, ничего, кроме абажура, оттуда не унес. А надо было закупить всего-всего: и вазочек, и блюдец, и цветастых плат-

ков, и совиных чучел, и фарфоровых свиней, и ленточных ковриков! Пригодились бы и кошки-копилки, и дуделки, и свиристелки, и бумажные цветы

-- маки с чернильными ватками в сердцевинках, и бумажные красно-зеленые дрожачие жабо на двух палочках: вывернешь палочки -- и затрясется бахромчатое непрочное кружево, еще вывернешь -- и схлопнулось в дудочку, и пропало. Мелькали изумительные клеенчатые картины: Лермонтов на сером волке

умыкает обалдевшую красавицу; он же в кафтане целится из-за кустов в лебедей

с золотыми коронами; он же что-то выделяет с конем... но папа тащит меня дальше, дальше, мимо инвалидов с леденцами, в абажурный ряд. Мужик хватывает папу за кожаный рукав:

--Хозяин, продай пальто!

Ай, да не приставайте к нам с глупостями, нам нужен абажур, нам вон туда, я верчу головой, мелькают веники, корзинки, крашеные деревянные яйца, поросенок -- не зевай, все, пошли назад. Где он? А, нот. Продираемся сквозь толпу назад, папа с абажуром, еще томным, молчаливым, но уже принятым в семью: теперь он наш, он свой, мы его полюбим. И он замер, ждет: куда-то его несут? Он еще не знает, что пройдет время -- и он, некогда любимый, будет осмеян, низвергнут, сорван, сослан, а на его место с ликованием взлетит новая фаворитка: модная белая пятилопастная раскоряка. А

потом, обиженный, изуродованный, преданный, он переживет последнее глумление: послужит кринолином в детском спектакле и навсегда канет в помоечное небытие. Сик транзит gloria мунди

-- Пала, купи вон то, пожалуйста!

-- Что там такое?

Веселая обмотанная баба, радуясь покупателю, вертится на морозе, подпрыгивает, потопав лет валенками, потряхивает отрубленной золотой косой

толщиной в канат!-- Купите!

-- Пала, купи!

-- Ты с ума сошла?! Чужие волосы! И не трогай руками -- там вши!

Фу-у-у, ужас какой! Я обмираю: действительно, огромные вши, каждая размером с воробья--с внимательными глазками, с мохнатыми лапками, с коготками, цепляются за простыню, лезут на одеяло, хлопают в ладоши, все громче и громче... Опять загудел бред, закричал жар, завертелись огненные колеса -- грипп!

...Темная городская зима, холодная струе воздуха из коридора -- кто-нибудь из взрослых вносит на спине огромный полосатый мешок с дровами --

растапливать круглую коричневую колонку в ванной. А ну марш из-под ног!  
Ура,

сегодня купаться будем! Через ванну перекинута деревянная решетка; тяжелые облупленные тазы, кувшины с горячей водой, острый запах дегтярного мыла, распаренная сморщенная кожа на ладонях, запотевшее зеркало, духота, чистое наглаженное мелкое белье-- и вжжжжж -- бегом по холодному коридору, и гзлюх!

-- в новенькую постель: блаженство! -- Нянечка, спой песенку!

Няне Груше ужасно много лет. Она родилась в деревне, а потом воспитывалась у доброй графини.

В ее седенькой голове хранятся тысячи рассказов о говорящих медведях, о синих змеях, которые по ночам лечат чахоточных людей, заползая через печную

трубу, о Пушкине и Лермонтове. И она точно знает, что если съесть сырое тесто -- улетишь. И когда ей было пять лет -- как мне, -- царь послал ее с секретным пакетом к Ленину в Смольный. В пакете была записка: "Сдавайся!"

А

Ленин ответил: "Ни за что!" И выстрелил из пушки. Няня поет:

По камням струится Терек,  
Плещет мутный ва-а-а-ал...  
Злой чечен ползет на берег,  
То-очит свой кинжа-а-а-ал...

Кольшется кисея на окне, из-за зимнего облака выходит грозно сияющая луна; из мутной Карповки выползает на обледенелый бережок черный чечен, мохнатый, блестит зубами...

Спи, моя радость, усни!

...Да, а французский с Марьиванной что-то не идет. Не отдать ли меня во французскую группу? Там и гуляют, и кормят, и играют в лото. Конечно, отдать! Ура! Но вечером французенка возвращает маме паршивую овцу:

-- Мамочка, ваш ребенок совершенно не подготовлен. Она показывала язык другим детям, порвала картинки, и ее вырвало манной кашей. Приходите на следующий год. До свидания! О ревуар!

-- Не досвидания! -- выкрикиваю я, уволакиваемая за руку расстроенной мамой. -- Ешьте сами вашу поганую кашу! Не ревуар!

("Ах, так! А ну вышвыривайтесь отсюда! Забирайте вашего мерзкого гаденыша!" -- "Не больно-то надо! Сами не очень-то воображайте, мадам!")

-- Извините, пожалуйста, с ней действительно очень трудно.

-- Ничего, ничего, я понимаю!

Ну что за наказание с тобой!!!

...Возьмем цветные карандаши. Если послонявить красный, он дает особенно гладкий, атласный цвет. Правда, ненадолго. Ну, на Марьиванно лицо

хватит. А тут -- громадную бородавку. Отлично. Теперь синим: шар, шар, еще

шар. И две тумбы. На голову -- черный блин. В руки -- сумочку, сумочки рисовать я умею. Вот и Марьиванна готова. Сидит на облупленной весенней скамеечке, галоши расставила, глаза закрыла, поет:

Я ехала домо-о-ой... Душа была полна-а-а...

Вот и ехала бы ты себе домой! Вот и катилась бы колбаской к своей Катюшеньке.

"...Жорж всегда брал мне халву у Абрикосова -- помните?" -- "Да, да, да, ну как же..." -- "Все было так изящно, деликатно..." -- "Не говорите..." -- "А сейчас... Вот эти: думала, интеллигентные люди! А они хлеб режут вот такими ломтями!" -- "Да, да, да... А я..." -- "Я мамочке, покойнице, всегда только "вы" говорила. Вы, мамочка... Уважение было. А это, что же: ладно -- я, чужой человек, но к родителям, к родителям своим -- ну никакого... А за столом лезут вот так! вот так! и руками, руками!"

Господи! Долго ли нам еще терпеть друг друга?

А потом скверик закрывают на просушку. И мы просто ходим по улицам. И вот однажды вдруг какая-то худая высокая девочка -- белый такой комар -- с криком бросается на шею к Марьиванне, и плачет, и гладит ее трясущееся красное лицо!

-- Нянечка моя! Это нянечка моя!

И -- смотрите -- эта туша, залившись слезами и задыхаясь, тоже обхватила эту девочку, и они -- чужие! -- вот тут, прямо у меня на глазах, обе кричат и рыдают от своей дурацкой любви!

-- Это нянечка моя!

Эй, девочка, ты что? Протри глаза! Это же Марьи-ванна! Вон же, вон у нее бородавка! Это наша, наша Марьиванна, наше посмешище: глупая, старая, толстая, нелепая!

Но разве любовь об этом знает?

...Проходи, проходи, девочка! Нечего тут!.. Распустила нюни... Я тащусь, озлобленная и усталая. Я гораздо лучше той девочки! А меня-то Марьиванна так не любит. Мир несправедлив. Мир устроен навыворот! Я ничего

не понимаю! Я хочу домой! А Марьиванна просветленно смотрит, цепко держит

меня за руку и пыхтит себе дальше, вперед.

-- У меня но-ожки устали!

-- Сейчас кружочек обойдем и домой... Сейчас, сейчас...

Незнакомые места. Вечереет. Светлый воздух весь ушел вверх и повис над домами; темный -- вышел и встал в подворотнях, в подъездах, в провалах улиц. Час тоски для взрослых, тоски и страха для детей. Я одна на всем свете, меня потеряла мама, сейчас, сейчас мы заблудимсяааааа! Меня охватывает паника, и я крепко вцепляюсь в холодную руку Марьиванны.

-- Вот в этом подъезде я живу. Во-он там мое окно -- второе от угла.

Под каждым окном нахмурили брови, разинули рты -- съедят! -- головы без туловища. Головы страшные, и сырая тьма подъезда -- жуткая, и Марь-иванна -- не родная. Высоко, в окне, приплюснув нос к темному стеклу, брезжит повешенный дядя, водит по стеклу руками, всматривается. Сгинь, дядя!!! Выползешь ночью из Карповки злым чеченом, оскалишься под луной -- а глаза

закатились, -- быстро-быстро побежишь на четвереньках через булыжную мостовую, через двор в парадную, в тяжелую глухую тьму, голыми руками по ледяным ступеням, по квадратной лестничной спирали, выше, выше, к нашей двери...

Скорей, скорей домой! К нянечке! О нянечка Груша! Дорогая! Скорее к тебе! Я забыла твое лицо! Прижмусь к темному подолу, и пусть твои теплые старенькие руки отогреют мое замерзшее, заблудившееся, запутавшееся сердце!

Нянечка разматывает мой шарф, отстегнет впившуюся пуговку, уведет в пещерное тепло детской, где красный ночник, где мягкие горы кроватей, и закапают горькие детские слезы в голубую тарелку с зазнавшейся гречневой кашей, которая сама себя хвалит. И, видя это, нянечка заплачет и сама, и подсядет, и обнимет, и не спросит, и поймет сердцем, как понимает зверь -- зверя, старик -- дитя, бессловесная тварь -- своего собрата. Господи, как страшен и враждебен мир, как сжалась посреди площади на ночном ветру бесприютная, неумелая душа! Кто же был так жесток, что вложил в меня любовь

и ненависть, страх и тоску, жалость и стыд -- а слов не дал: украл речь, запечатал рот, наложил железные засовы, выбросил ключи!

Марьиванна, напившись чаю, повеселевшая, заходит в детскую сказать спокойной ночи. Отчего это ребенок так плачет? Ну-ну-ну. Что случилось? Порезалась?.. Живот болит?.. Наказали?..

(Нет, нет, не то, не то! Молчи, не понимаешь! Просто в голубой тарелке, на дне, гуси-лебеди вот-вот схватят бегущих детей, а ручки у девочки облупились, и ей нечем прикрыть голову, нечем удержать братика!)

-- Ну-ка, вытри слезы, стыдно, такая большая! Доедай-ка все до конца! А я тебе стихи почитаю!

Толкнув под локоть Марьиванну, приподняв цилиндр, прищурившись, вперед

выходит дядя Жорж:

Не белые тюльпаны

В венчальных кружевах--

То пена океана

На дальних островах.

Поскрипывают снасти

Над старую кормой.

Неслыханное счастье

За пенною каймой.

Не черные тюльпаны --

То женщины в ночи.

Полуденные страны

И в полночь горячи!

Выкатывайте бочку!

Туземки хороши!

Мы ждали эту ночь--

Гуляйте от души!

Не алые тюльпаны

Расплылись на груди --

В камзоле капитана..

Три дырки впереди;

Веселые матросы

Оскалились на дне..

Красивы были косы

У женщин и той стране.

"Страсти какие ребенку на ночь..." -- ворчит няня.

Дядя поклонился и исчез. Марьяванна закрывает за собой дверь: до завтра, до завтра!

Уйдите все, оставьте меня, вы ничего не понимаете!

В груди вертится колючий шар, и невысказанные слова пузыряются на губах, размазываются слезами. Кивает красный ночник. Да у нее жар! -- кричит кто-то из далекого далека, но ему не перекричать шума крыльев -- гуси-лебеди обрушились с грохочущего неба!

...Дверь на кухню закрыта. Солнце пробивается сквозь матовое стекло. Полдень облил золотом паркет. Тишина. За дверью Марьяванна, плача, жалуется на нас:

-- Больше так не могу! Что ж это -- день изо дня все хуже... Все поперек, все назло... Я трудную жизнь прожила, все по чужим людям, всякое, конечно, отношение было... Нет, условия -- я не говорю, условия хорошие, но в моем возрасте... и здоровье.. откуда такой дух противоречия, и враждебность... хотела немножко поэзии, возвышенного... Бесполезно... больше не выдерживаю...

Она от нас уходит!

Марьяванна уходит от нас. Марьяванна сморкается в крошечный платочек. Пудрит красный нос, глубоко вглядывается в зеркало, медлит, будто что-то ищет в его недоступной, запечатанной вселенной. И правда, там, в сумрачных глубинах, шевелятся забытые занавеси, колеблется пламя свечи, выходит бледный дядя в черном, с листком в руках:

Принцесса-роза жить устала

И на закате опочила.

Вином из смертного фиала

Печально губы омочила.

И принц застыл как изваяние,

В глухом бессилье властелина,

И свита шепчет с состраданием,

Как опочившая невинна.

Порфироносные родители Через герольдов известили,

Чтоб опечаленные жители

На башнях флаги опустили.

Я в похоронную процессию

Вливаюсь траурною скрипкою.

Нарциссы в гроб кладу принцессе я

С меланхолической улыбкою.

И, притворяясь опечаленным,

Глаза потуплю, чтоб не выдали:

Какое ждет меня венчание!

Такого вы еще не видели.

Смертной белой кисеей затягивают люстры, черной -- зеркала. Марьяванна опускает густую вуальку на лицо, дрожащими руками собирает развалины сумочки, поворачивается и уходит, шаркая разбитыми туфлями, за порог, за предел, навсегда из нашей жизни.

Весна еще слаба, но снег сошел, только в каменных углах лежат последние черные корки. А на солнышке уже тепло.

Прощай, Марьяванна!

У нас впереди лето.

